

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК

НОЧЬ В ЛИССАБОНЕ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.112.2-31
ББК 84 (4Гем)-44
Р37

Серия «Эксклюзивная классика»

Erich Maria Remarque
DIE NACHT VON LISSABON

Перевод с немецкого Ю. Плашевского

Серийное оформление Е. Фerez

Печатается с разрешения
The Estate of the Late Paulette Remarque и литературных
агентств Mohrbooks AG Literary Agency и Synopsis.

Ремарк, Эрих Мария.

Р37 Ночь в Лиссабоне : [роман] / Эрих Мария Ремарк; [пер. с нем. Ю. Плашевского]. — Москва: Издательство АСТ, 2015. — 317, [3] с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-086776-9

«Ночь в Лиссабоне» (1962) — трагический, проникновенный роман Эриха Марии Ремарка о Второй мировой войне.

Это не только одна ночь в Лиссабоне, в которую и уместился весь этот рассказ. Это не просто случайная встреча двух отчаявшихся людей, один из которых тщетно пытается найти два билета на пароход до Америки, а другой — ищет собеседника, чтобы излить ему душу. Это настоящая исповедь отважного, смелого человека, на долю которого выпали немислимые по тяжести испытания. Это история целого поколения людей, столкнувшихся с войной, попавших в тиски фашизма. Это еще и история любви, перед которой отступает даже смерть.

УДК 821.112.2-31
ББК 84 (4Гем)-44

© The Estate of the Late Paulette Remarque, 1962
© Перевод. Ю. Плашевский, наследники, 2011
© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

I

Я неподвижно смотрел на корабль. Ярко освещенный, он покоился на поверхности Тахо*, недалеко от набережной. Хотя я уже неделю был в Лиссабоне, я все еще не мог привыкнуть к беспечным огням этого города. В странах, откуда я приехал, города по ночам лежали черные, будто угольные шахты, и свет фонаря в темноте был опаснее, чем чума в средние века. Я приехал из Европы двадцатого столетия.

Корабль был пассажирским судном. Шла погрузка.

Я знал, что он должен отплыть завтра вечером. В резком свете обнаженных электрических огней на борт подавали мясо, овощи, рыбу, консервы; рабочие втаскивали багаж, а кран легко и бесшумно подымал, будто невесомые, тюки и ящики. Корабль снаряжался в путь, словно Ноев ковчег.

* Река в Португалии, на которой стоит г. Лиссабон. —
Здесь и далее примеч. пер.

Что же, это и в самом деле был ковчег. Каждое судно, покидавшее Европу в эти месяцы 1942 года, было ковчегом. Америка высилась Араратом, а потоп нарастал с каждым днем. Он давно уже затопил Германию и Австрию, глубоко на дне лежали Прага и Польша; потонули Амстердам, Брюссель, Копенгаген, Осло и Париж; в зловонных потоках задыхались города Италии; нельзя спастись уже и в Испании. Побережье Португалии стало последним прибежищем беглецов, для которых справедливость, свобода и терпимость значили больше, чем родина и жизнь. Того, кто не сможет теперь достигнуть благословенной земли Америки, ждала гибель. Он был обречен истечь кровью в дебрях отказов во въездных и выездных визах, безнадежных попыток добыть разрешение на жительство и работу, в чащах бюрократии, лагерей для интернированных, отчуждения и равнодушия к судьбе одиночки — вечного следствия войны, страха и нужды. Человек был ничем; надежный паспорт — всем.

Сегодня после обеда я пошел в казино «Эсторил» с надеждой выиграть. У меня еще был приличный костюм, и меня впустили. То была последняя, отчаянная попытка подкупить судьбу. Разрешение на пребывание в Португалии у меня и Рут истекало через несколько дней. Никаких виз у нас больше не было. Корабль, что стоял на Тахо, был последним, с которым мы еще во Франции рассчитывали попасть в Нью-Йорк, однако места на нем были распроданы за несколько месяцев, а у нас не было ни разрешения на въезд в Америку, ни денег; билет стоил свыше трехсот долларов. Я попытался раздобыть деньги единственно возмож-

ным здесь способом — в казино. Даже если бы я выиграл, попасть на корабль можно было бы чудом. Но во время бегства и опасности, в отчаянии как раз и начинаешь верить в чудо: иначе нельзя выжить...

Но у меня ничего не вышло. Из шестидесяти двух долларов, что у нас были, пятьдесят шесть я проиграл.

В этот поздний час набережная была безлюдна. Вскоре, однако, я заметил человека, который то бесцельно ходил взад и вперед, то вдруг останавливался и начинал, как я, всматриваться в пароход. Я решил, что он тоже один из потерпевших крушение и не заслуживает внимания. Потом я почувствовал, что он за мной наблюдает.

Страх перед полицией никогда не оставляет эмигранта. Даже во сне.

Даже тогда, когда ему нечего бояться. Поэтому я тотчас же повернулся и со скучающим видом человека, который не испытывает никаких опасений, медленно направился прочь от набережной.

Вскоре я услышал позади себя шаги. Я шел все так же, не спеша. Меня только мучила мысль, как известить Рут, если меня арестуют.

В конце набережной стояли дома, будто выписанные пастелью, похожие на больших бабочек, уснувших в ночи. Там, в переулках, легко исчезнуть, затеряться. Но идти еще слишком далеко. Если я побегу, меня могут подстрелить.

Человек теперь шел рядом. Он был немного ниже меня ростом.

— Вы немец? — спросил он по-немецки.

Не замедляя шага, я покачал головой.

— Австриец?

Я, не отвечая, смотрел на пастельные дома. Они приближались, но очень медленно. Я знал, что есть португальские полицейские, которые хорошо говорят по-немецки.

— Я не полицейский, — сказал человек.

Я ему не поверил. Он был в штатском, но ведь много раз в Европе меня ловили жандармы в штатском. Правда, сейчас у меня были документы. И неплохие. Их сделал в Париже профессор математики из Праги. И все-таки это была подделка.

— Я видел, как вы рассматривали пароход, — сказал человек. — Поэтому я подумал...

Я окинул его равнодушным взглядом. Он не был похож на полицейского. Однако последний жандарм, который сцапал меня в Бордо, выглядел так жалостно, что походил скорее на Лазаря, пробывшего три дня в могиле. Он оказался самым безжалостным и арестовал меня, хотя знал, что немецкие войска через день будут в Бордо. И я бы погиб, если бы директор тюрьмы не смилостивился и не выпустил меня спустя два часа.

— Хотите в Нью-Йорк? — спросил человек.

Я не ответил. Мне оставалось еще двадцать метров, чтобы сбить его и убежать, если понадобится.

— Вот два билета на корабль, — сказал человек и сунул руку в карман.

При слабом свете я не мог разглядеть протянутые им бумаги. Впрочем, теперь мы уже довольно далеко отошли от набережной, и можно было рискнуть. Я остановился.

— Что все это значит? — спросил я по-португальски.

Я знал несколько слов.

— Вы можете их взять себе, — ответил он. — Даром. Мне они не нужны.

— Вам они не нужны? Почему?

— Мне они больше не нужны.

Я уставился на человека, не понимая его. Он и в самом деле не был похож на полицейского. Чтобы арестовать меня, вряд ли требовались такие нелепые трюки. Но если билеты настоящие, почему он их предлагает мне? Хочет продать? Меня затрясло.

— Я не могу их купить, — сказал я наконец по-немецки. — Они стоят целое состояние. В Лиссабоне есть богатые эмигранты. Они заплатят вам сколько захотите. У меня нет денег, вы ошиблись.

— Я не хочу их продавать, — сказал человек.

Я опять взглянул на билеты:

— Они настоящие?

Вместо ответа незнакомец протянул их мне. Я взял и почувствовал, как они захрустели в пальцах. Да, настоящие. Они означали спасение. Без них была гибель. Но ведь я не смогу воспользоваться ими. У нас нет американской визы. Правда, завтра утром можно еще попытаться получить ее или, в крайнем случае, продать билеты и на выручку жить еще целых полгода.

— Я вас не понимаю, — сказал я.

— Вы можете их забрать, — ответил он. — Даром. Завтра утром я уезжаю из Лиссабона. Но ставлю одно условие.

У меня опустились руки. Конечно. Я же знал, что все это не так просто.

— Какое? — спросил я.

— В эту ночь я не хотел бы оставаться один.

— Вы хотите, чтобы я был с вами?

— Да. До утра.

— И все?

— Да, все.

— И больше ничего?

— Больше ничего.

Я с недоверием посмотрел на человека. Да, я, конечно, знал, что люди, подобные нам, иногда не выдерживали и надламывались: у них часто не хватало сил переносить одиночество; странно — они боялись пространства, хотя для них почти не оставалось места в жизни. Я знал, что тогда, вот так же ночью, оказавшись рядом, кто-нибудь, даже незнакомый, мог удержать человека от самоубийства. Считалось само собой разумеющимся, что люди просто помогали друг другу. Никто не брал за это платы. Тем более — такой.

— Где вы живете? — спросил я.

Он поднял руку, будто защищаясь:

— Туда я не хочу, нет ли здесь кабачка, где можно провести время?

— Наверно, есть.

— Я имею в виду — для эмигрантов. Что-нибудь вроде «Кафе де ла Роз» в Париже?

Я знал «Кафе де ла Роз». Рут и я ночевали там в течение двух недель. Хозяин разрешал, если заказывали кофе. Мы приносили с собой несколько газет и ложились прямо на полу. Я никогда не спал за столом. Можно упасть. А с пола не упадешь.

— Я не знаю такого заведения, — сказал я.

Я-то знал, но разве можно человека, который дарит билеты на пароход, вести туда, где люди готовы отдать за билет собственный глаз.

— Я знаю тут только один ресторан, — сказал он. — Мы можем попытаться. Может быть, он еще открыт.

Он подозвал такси и посмотрел на меня.

— Хорошо, — согласился я.

Мы сели в машину, и он назвал шоферу адрес. Мне нужно было предупредить Рут о том, что я до утра не вернусь, но тут вдруг, только я сел в теплое, затхлое такси, во мне вспыхнула такая дикая, ошеломляющая надежда, что закружилась голова. А может быть, это правда? Может быть, наша жизнь и в самом деле еще не кончилась? Вдруг свершилось невозможное и мы спасены? Теперь я уже не решался оставить незнакомца даже на секунду.

Мы объехали Праса де Коммерсио* и попали в путаницу лестниц и переулков, которые вели вверх. Эта часть Лиссабона была мне неизвестна: как и везде, я здесь тоже знакомился главным образом с музеями и соборами — не потому, что любил Бога или искусство, а просто потому, что в соборах и музеях не спрашивали документов. Перед распятием и полотнами живописи еще можно было оставаться просто человеком, а не субъектом с сомнительными документами.

Мы вышли из такси и пошли вверх по лестницам и извилистым улочкам. Пахло рыбой, чесноком, ночными цветами, ушедшим солнцем и сном.

В стороне — в ночном небе — вздымалась часовня святого Георга. Выходила луна, и свет ее лился водопадом по ступеням лестницы.

* Рыночная площадь.

Я обернулся и посмотрел вниз, на гавань. Там была река, а река — это свобода, жизнь, она впадала в море, — а море — это уже Америка. Я остановился.

— Вы не шутите со мной, надеюсь, — сказал я.

— Нет, — откликнулся человек.

— Я говорю о билетах.

Еще на набережной он опять сунул их в карман.

— Нет, — сказал он. — Я не шучу.

Он показал на маленькую площадь, окруженную деревьями.

— Вон там ресторан, о котором я говорил. Он еще открыт. Там мы не будем бросаться в глаза. Это место посещают главным образом иностранцы; нас сочтут за людей, которые утром уезжают и проводят здесь последнюю ночь в Португалии.

Мы вошли. Это был скорее бар, рассчитанный на туристов, с маленькой площадкой для танцев и террасой. Слышалась гитара, в глубине помещения я заметил певицу — исполнительницу фадо*. Несколько столиков на террасе было занято. Я заметил женщину в вечернем платье и мужчину в белом смокинге. Мы нашли свободное место в конце террасы. Отсюда виден был Лиссабон — шпили церквей в бледном сиянии, освещенные улицы, гавань, пристани и корабли на реке, ковчег надежды.

— Верите ли вы в загробную жизнь? — спросил человек с билетами.

Я ожидал чего угодно, только не этого вопроса.

* Фадо — португальские народные песни.

— Я не знаю, — ответил я наконец. — В последние годы я был слишком занят вопросом о том, как продержаться в этой жизни. Если я попаду в Америку, то охотно займусь проблемой, о которой вы упомянули.

Последнее я добавил для того, чтобы напомнить о билетах.

— А я не верю, — сказал он.

Я вздохнул. Выслушать какого-нибудь несчастного куда ни шло, но вести философские дискуссии? Нет, на это я сейчас не способен. Мной овладело беспокойство. Внизу, на реке, стоял корабль.

Некоторое время мой сосед сидел так, словно заснул с открытыми глазами.

Затем, когда гитарист вышел на террасу, он очнулся и сказал:

— Меня зовут Шварц, по паспорту. Это не настоящее имя. Но я привык к нему, и на эту ночь его вполне достаточно. Вы долго были во Франции?

— Пока можно было.

— Вас интернировали?

— Как и других. Когда началась война.

Человек кивнул.

— Нас тоже. Я был счастлив, — быстро сказал он вдруг, понизив голос. — Я был очень счастлив, — повторил он, глядя в сторону. — И никогда не думал, что можно быть таким счастливым.

Что-то меня поразило в его словах. Они не вязались с его обликом — с первого взгляда человек производил впечатление ординарного, застенчивого.

— Когда? — спросил я. — Может быть, в лагере?

— В последнее лето.

— В 1939 году? Во Франции?

— Да. В лето перед войной. До сих пор не понимаю, как все это случилось. Мне обязательно нужно кому-нибудь рассказать все. Здесь я никого не знаю. Все повторится еще раз, пока я буду говорить. И может быть, я пойму. И может быть, оно останется. Мне нужно хотя бы еще раз...

Он замолчал.

— Вы меня понимаете? — спросил он через минуту.

— Да, — ответил я и осторожно добавил: — Это нетрудно понять, господин Шварц.

— Нет! Этого нельзя понять! — страстно, с жаром сказал он. — Она лежит там, внизу, в комнате с наглухо закрытыми окнами, в отвратительном дощатом гробу, мертвая! Ее нет больше! Кто может это понять? Никто! Ни вы, ни я. И никто! И если кто скажет, что понимает, — тот покривит душой!

Я молчал, выжидая. Мне уже не раз приходилось вот так сидеть и слушать. Когда у тебя нет родины, потери особенно тяжелы. Нигде не находишь опоры, а чужбина кажется особенно чуждой. Я пережил это в Швейцарии, когда получил известие, что мои мать и отец сожжены в концентрационном лагере в Германии. Мне долго представлялись глаза матери в огне крематория. Они преследуют меня и сейчас.

— Я думаю, вы знаете, что такое эмигрантский колер*, — сказал Шварц спокойнее.

* Колер — болезнь лошадей, похожая на бешенство. Ремарк применяет этот термин для характеристики людей, уже не способных контролировать свои поступки.

Кельнер принес блюдо креветок. Я почувствовал острый голод и вспомнил, что с полудня ничего не ел. Я нерешительно взглянул на Шварца.

— Ешьте, ешьте, — сказал он. — Я подожду.

Он заказал вино и сигареты. Я быстро принялся за еду. Креветки были свежие и острые.

— Мне неудобно перед вами, — сказал я, — но я очень проголодался.

Поглощая креветки, я рассматривал Шварца. Он сидел спокойно, без нетерпения и раздражения, и смотрел на город, театрально раскинувшийся внизу.

Я почувствовал что-то вроде симпатии. Он, видно, был свободен от фальшивых правил приличия и понимал, что если человек голоден, он будет есть, даже если рядом страдают, и что это нельзя считать бесчувственностью. Если ничем нельзя помочь другому — пусть голодный ест хлеб, пока его не отняли.

Я отодвинул тарелку в сторону и взял сигарету. Я давно не курил — сэкономил деньги для игры.

— На меня нашел колер весной тридцать девятого года, — сказал Шварц. — После пяти лет эмиграции. Где вы были осенью тридцать восьмого?

— В Париже.

— Я тоже. К тому времени я уже был сломлен... Наступило время Мюнхена. Агония страха. Я еще автоматически прятался и защищался, но сил у меня уже не было. Наступит война, придут немцы и возьмут меня. От судьбы не уйдешь. Так я решил и примирился с этим.

Я кивнул.

— Это было время самоубийств. Странно, когда немцы полтора года спустя действительно пришли, самоубийств стало меньше. Потом был заключен Мюнхенский пакт, — продолжал Шварц. — Осенью тридцать восьмого многие почувствовали себя так, будто им вновь подарили жизнь. Наступило время страшного легкомыслия. В тот год в Париже второй раз зацвели каштаны. Я дошел до того, что ощутил себя человеком, и за это, конечно, пришлось поплатиться. Меня схватили и посадили на четыре недели за неоднократный въезд в страну без разрешения. Затем началась старая игра: под Базелем меня выставили за границу, швейцарцы отослали меня обратно. Французы в другом месте опять выгнали. Вы знаете эту шахматную игру, в которой фигурами служат люди?..

— Знаю. Зимой это не шутка. Самые лучшие тюрьмы, между прочим, в Швейцарии. Тепло, как в гостинице.

Я снова принялся за еду. В неприятных воспоминаниях есть одна хорошая сторона: они убеждают человека в том, что он теперь счастлив, даже если секунду назад он в это не верил. Счастье — такое относительное понятие! Кто это постиг, редко чувствует себя совершенно несчастным. Я был счастлив даже в швейцарских тюрьмах, и только потому, что они были не немецкие.

Сейчас передо мной сидел человек, уверяющий, что он был счастлив, а в это самое время у него где-то в Лиссабоне, в затхлой комнате, стоял дощатый гроб...

— В последний раз, отпуская, мне пригрозили, что если я попадусь без документов еще раз, меня

вышлют в Германию, — продолжал Шварц. — Это была только угроза, но она напугала меня. Я невольно стал думать, что мне делать, если это и в самом деле случится. По ночам мне снилось, будто я уже там и за мной охотятся эсэсовцы. Сны стали повторяться так часто, что я уже боялся ложиться спать. Вам это знакомо?

— Я мог бы написать об этом докторскую диссертацию, — ответил я. — Печально, но факт.

— Однажды ночью мне приснилось, что я в Оснабрюке, где жил когда-то и где осталась моя жена. Будто я стою в ее комнате и вижу ее, худую и бледную. Она больна, по щекам ее текут слезы. Я проснулся с тяжелым сердцем. Более пяти лет я не видел ее и ничего о ней не слышал. Я никогда не писал ей, опасаясь, что за ней следят. Перед моим бегством она пообещала мне подать заявление о разводе. Это избавило бы ее от многих неприятностей. Некоторое время я был уверен, что она так и сделала.

Шварц замолчал. Я не спрашивал, почему он бежал из Германии. Причин хватало, и ни одну из них нельзя было назвать интересной — они были несправедливы. Никогда не интересно быть жертвой. Он мог быть евреем или принадлежать к политической партии, враждебной нынешнему режиму. У него могли оказаться враги, ставшие влиятельными. Существовали десятки причин, по которым в Германии можно было погибнуть или оказаться в концентрационном лагере.

— Мне удалось опять попасть в Париж, — снова заговорил Шварц. — Но сны меня не оставляли. Они возвращались снова и снова. К тому вре-